



Елена Чижова
Крошки Цахес

«АСТ»

2010

Чижова Е. С.

Крошки Цахес / Е. С. Чижова — «АСТ», 2010

В романе «Крошки Цахес» события разворачиваются в элитарной советской школе. На подмостках школьной сцены ставятся шекспировские трагедии, и этот мир высоких страстей совсем непохож на реальный... Его создала учительница Ф., волевая женщина, self-made woman. «Английская школа – это я», – говорит Ф. и умело манипулирует юными актерами, желая обрести единомышленников в сегодняшней реальности, которую презирает. Но дети, эти крошки Цахес, поначалу безоглядно доверяющие Ф., предают ее... Все, кроме одной – той самой, что рассказала эту историю.

© Чижова Е. С., 2010

© АСТ, 2010

Содержание

Свидетель	5
Новый свет	7
Завет	9
Темно-бархатная роза	12
Порог	14
Выбор поэта	16
И единственный взгляд	18
Голубоватый пол	21
Крошка Цахес	25
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Елена Чижова

Крошки Цахес

Свидетель

Теперь, когда мне сорок и деятельная часть моей жизни, если верить мудрецам, заканчивается и сменяется созерцательной, я, в здравом уме и твердой памяти, которыми она в себе гордилась, смиренно приступаю к описанию ее жизни, меньшая часть которой прошла на моих глазах, а большая известна по ее рассказам, что в *данном случае* является достоверным источником. Однако, едва начав, то есть решительно высказав то, что я высказала, я чувствую необходимость пуститься в объяснения, поскольку первая же моя длинная, но все-таки сравнительно лаконичная фраза уже прорастает вглубь чуть ли не каждым словом. Пускает корешки. Возможно, виною тут мой характер, а может быть, само созерцание, на которое претендует мой возраст. Похоже, оно не чуждается воображения, способного превратить мою первую и слишком длинную фразу в подобие торфяного горшочка, куда незадолго до Пасхи, расковыряв почву пальцем, опускают пшеничные зерна, чтобы они успели прорасти и укорениться к Празднику. Слово – зернышко со своим верхком и корешком.

А может быть, меня выдает привычка сравнивать себя с нею – привычка абсолютно незаконная, в чем я отдаю себе отчет. Эта привычка укоренилась настолько, что я сама (и никакие фразы и слова здесь ни при чем) стою проросшим зерном, на лопнувшей шкурке которого запечатлелись ее пальцы. Проросшим, но так и не заколосившимся. А впрочем, кто же дожидается колоса от пасхального зерна! Чтобы заколоситься, надобно быть брошенным в настоящую полевую почву, чреватую жизнеспособными сорняками, чтобы, схватившись с ними под настоящим – живительным и жестоким – солнцем, выиграть, выбросив колос, или проиграть. Это и есть та самая деятельная жизнь, на которую люди тратят самые восхитительные свои годы, чтобы, перевалив за мой нынешний рубеж, с горечью или гордостью оглядываться на прожитое: предаваться заслуженному созерцанию, жалея о несбывшемся или удовлетворяясь сбывшимся. Ни то ни другое мне недоступно.

И все-таки я не хочу, чтобы кого-то ввело в заблуждение мое признание в том, что мне не досталось солнца. Мне досталось другое солнце. Мои вершки стоят под другими – жесткими лучами, и мою жизнь никак, разве что с долей горьковатого юмора, нельзя назвать идиллической. Если и можно заикнуться об идиллии, то ровно в той степени, в которой она сама идиллию допускала. Больше же частью не допускала вовсе – с жесткостью, которую на бумаге трудно соединить с ее деликатностью. В жизни же они соединялись накрепко: стояли в первом – под замковым камнем – ряду кладки. Я не стану доискиваться до причин, по которым моим корням не досталось полевой земли. С меня довольно и того, что я и понимаю, и принимаю незаслуженность созерцания, которому готовлюсь предаться в силу своего нынешнего возраста. Пусть уж лучше продолжится мое сравнение с пасхальным ростком: видно, в торфяных горшочках попадают и зерна-двойчатки, прорастающие двойными ростками – гордости и горечи.

Она никогда не учила меня смирению. Наверное, это единственное, чему она никогда не взялась бы меня научить. Сама-то она ни в малейшей степени смиренной не была. Если бы она знала, чем кончится дело со мною, она, не тратя лишних слов, просто прищипнула бы оба ростка. Случись так, и они никогда не сплелись бы в один, в одно: смирение. Она просто не успела сделать этого, а потому так уж и вышло, что именно она, ее не успевшие пальцы научили меня смирению, тогда как все другие, действовавшие со мной не мытьем, так катаньем, потерпели на этой стезе поражение.

Теперь об одной странности, о которой я вынуждена упомянуть: мне больше не дается ее имя. Отношу это исключительно на свой счет. Сотни уст после первой, не всегда удачной попытки с привычной легкостью произносили ее имя и не утратили этой способности до сих пор. Мои же, долгие годы не бывшие исключением, теперь замкнулись, оставив себе местоимение, а руке передав одну букву Ф, хотя глазам, читавшим ее открытки, привычнее – F. Так она подписывала их до того последнего дня, когда, взяв вместо открытки свою фотографию, изменила подпись.

Розоватая, цвета зари, кипень сирени – с каждым годом все шире забирающий куст под ее балкончиком, маленьким, как и вся квартирка. Пустой балкон, выкрашенный белым, на котором она стояла, провожая меня. Очень маленькая, в розоватой широкой кофте. Перед этим мы разговаривали о чем-то, и теперь, когда я, уходя, обернулась, она, продолжая разговор, крикнула, чуть-чуть наклоняясь над перилами: “I am a witness”¹, – и быстро-быстро принялась ударять себя в грудь.

Если понадобится, я сумею вспомнить весь разговор, но *помню* только одну ее фразу. Перед самым моим уходом разговор шел (теперь я уже вспомнила) о самом обыденном, а значит, мы разговаривали по-русски. Верхние же, балконные слова она произнесла по-английски. Значит, самое простое объяснение – язык. Сказанное ею по-английски я всегда запоминала накрепко. Она одинаково совершенно владела обоими языками, но русская ее речь была как будто слегка размыта по краям, как акварель.

Английская же походила на тонкий и изысканный рисунок пером. А поскольку за исключением нескольких школьных лет я никогда не отвечала ей по-английски, может быть, опасаясь повредить тонкие перьевые линии, наши диалоги частенько бывали англо-русскими: мое русское масло и ее английский – тонкий рисунок – поверху.

Значит, пусть так и будет – пусть двуязычие будет причиной, по которой я снова и снова вспоминаю тот балкон, а вслед за ним и те места, где она, мне хочется сказать, останавливалась. Нет, она их украшала, ее стены не были голыми, но теперь, по прошествии лет, я помню их пустыми, как белый экран. Беловатую гладь полотна оживляло ее присутствие. Теперь, когда фильм кончился, экран пуст.

Поэтому я вижу и буду видеть: белый балкон, кривая балконная дверь, косой шкафчик, над которым она смеялась: подносила руку ко лбу английским жестом “crazy”². Глаза мои не застит, мои плохие глаза. Досуха, до красноты, до черных мух, до белого тополиного пуха, до желтых снежинок над пустырями. I am a witness. Свидетели не плачут. Они стоят на белых балконах, на самых крайних этажах.

¹ «Я – свидетель» (англ.).

² Шаткий, нездоровый, безумный (англ.).

Новый свет

Ее мать была дворником и так и не научилась хорошо говорить по-русски. И то и другое, учитывая ее национальность, было в петербургской традиции. Поэтому русский язык, на котором говорили все вокруг, и в квартире, и во дворе, был для дочери не то чтобы не родным – иным. Над ее колыбелью звучал родной язык ее матери. Русский был родным *не отродясь*, он *стал* родным. С дочерью мать разговаривала на своем родном, но дочь, войдя в сознательный возраст, то есть лет с шести, отвечала ей только по-русски. Ей казалось, из упрямства. Если и так, это было особое упрямство, не имеющее ничего общего с обычным – дочерним. Язык диктовало окружение. Явление, знакомое эмигрантам и их детям, знающим это упрямство.

Ее мать родилась в далекой нерусской деревне и не называлась эмигранткой только потому, что и Петербург, и ее родина входили в одну империю, и к моменту рождения матери никто из живых за это уже не отвечал. И все-таки *в какой-то степени* ее мать была эмигранткой, учитывая то, что так хорошенько и не выучила имперского языка, а значит, вряд ли могла рассчитывать на более чистую и легкую работу.

Дочь ни исторически, ни по сути дела эмигранткой не была, однако жизнь матери, похожая на эмигрантскую, не могла не наложить отпечатка на ее жизнь. Они жили – здесь вступает в силу уже не петербургская, а ленинградская традиция – в маленькой комнате в большой полуподвальной коммунальной квартире. Жизнь матери, похожая на эмигрантскую, заставляла дочь быть начеку: она была ушами матери в окружающем мире. Мать не могла разобрать того, что шепталось, буркалось скороговоркой, говорилось в воздух на коммунальной кухне. Конечно, мать не просила, а дочь не передавала ей чужих разговоров, но если в обычных – одноязычных – семьях ребенок не прислушивается к разговорам чужих взрослых, молчаливо полагаясь в этом на родителей, здесь, в языковом смысле, дочь не могла положиться на мать. В мире, говорящем на языке, не вполне ей доступном, мать не могла быть посредницей между дочерью и миром. Дочь выходила с миром один на один. Она была младше и должна была разговаривать с миром на его языке.

В то же время мир открывался перед нею безбрежностью русского языка, с которым она без материнского посредничества выходила один на один, и русский язык сам становился миром. Он был всего лишь частью огромного мира, но тогда она об этом не подозревала, как Колумб, мир которого в силу ограниченности знаний европейцев, не доросших до нужного исторического возраста, не включал в себя обеих Америк. Колумб шел к другим, виданным берегам, но открыл невиданный берег. Однако радость, заключенная в крике «Земля!», была остра и не зависела от того, к какой земле она подходила. Это была радость земли *в чистом виде*. Ей, выросшей в *такой* семье, была знакома *эта* радость. В шесть лет она нашла книгу Чосера «Кентерберийские рассказы», в переводе на русский. Шла предвоенная зима сорокового года. Прочитав, она испытала радость и поняла, что Чосера должны узнать все. Она была маленькой и по возрасту, и по сложению, и ей приходилось вставать на кухонную табуретку – где еще, кроме кухни, она могла читать *всем*, чтобы они слушали и смеялись. Она читала им так, как Колумб рассказывал согражданам о невиданных землях, которые он увидел, об открытом им Новом Свете. Мне кажется, они слушали вполуха, потому что ни на секунду не прекращали своей копотни: разжигали деревянную плиту, с хрустом отщепляя лучины, кипятили белье в баках и терли его в тазах, шевелили картошку на сковородках и громко мыли в раковине посуду. Я думаю, что никто из них не отвернулся от своего таза или бака, чтобы повернуться к ней, сесть и слушать. Однако она не обижалась на них, потому что независимо от того, какой мир она для них открывала, они сами со всеми их тазами, баками и сковородками тоже были ее когда-то большим миром, от которого она уходила на «Святой Марии» и возвращалась вновь. Если бы она не уходила от них и к ним же не возвращалась, она никогда

бы не догадалась о том, что, прежде чем стать Марией, надо долго и терпеливо быть Марфой. Так она начинала: под грохот тазов, шкварчание картошки, гул поленьев в печи. Зима сорокового была шумной.

Внимательная тишина, достойная Чосера, наступила на следующий год. Постепенно, от месяца к месяцу, стихали голоса и тазы, гул печи исчезал из голодной памяти, и треньканье капель о железную раковину сменилось мерным капаньем метронома. Той же зимой она прочла «Капитанскую дочку» – про себя. Там ей встретились сияющие глаза, которыми она зачаровалась. Об этих глазах она не могла читать им вслух: у блокадников было свое представление о сияющих глазах. Как и у соотечественников Колумба, у которых было свое представление о сиянии – золота. Она голодала, пила кипяток и становилась обманчиво пухлой. На этот обман попался страшный мужик с сияющими глазами, от которого она бежала по пустырю. У блокадников было правильное представление о сиянии.

Закончив школу – о ее школьных годах я почти ничего не знаю, она, наученная тем, что чужие правильные представления все равно остаются чужими, решила поступать в университет. Это решение было чудовищным прыжком из материнского прошлого, и если бы ее прошлые слушатели, едва умевшие читать, заранее прослышали об этом, они сочли бы ее или ненормальной, или героиней. Это был поступок из тех, которые не вызывают зависти – завидовать можно слыханному. В их полуподвальной квартире это было неслышанным. Ее поступок – а за решением последовало осуществление – вызвал бескорыстное удивление, недолгие пересуды и отчуждение: как бы то ни было, она становилась не их поля ягодой. Она поступила с первой же попытки, и эта удавшаяся попытка навсегда не то чтобы примирила ее с некоторыми сторонами окружающей жизни, но стала чем-то вроде противоядия, словно раз и навсегда уверила ее в том, что главное – возможно. Встречаясь с тем, что вызывало ее отвращение, она, никогда не будучи терпимой к тому, что ее отвращало, как будто глотала тайный, ей одной известный порошок: «И все-таки...»

В те времена, когда она поступила, на кафедрах Ленинградского университета уже, по разным причинам, не оставалось петербургских преподавателей. Однако среди случайных людей, сменивших дореволюционных профессоров по принципу естественного отбора в пролетарском государстве, нет-нет да и попадались их ученики, которые успели получить знания из первых рук. Кроме того, были и преподаватели, которые сами – своими усилиями, умом и талантом – сумели выбрать и продолжить. В отличие от студентов, для которых университетская скамья была делом решенным, то есть, образно говоря, родители мысленно записывали их в университет, как дворянского сына в полк, – она никогда не могла *привыкнуть*. Привычка, которой в той или иной степени подвластны все студенты – нельзя бесконечно радоваться тому, что случилось, пусть и с усилиями, но, так сказать, по плану, не имела над нею ни малейшей власти, потому что гигантский и чудовищный прыжок из материнского прошлого не мог иметь амплитуду полета, утыкающуюся в университетское крыльцо. Он требовал гигантского, конгениального разбега. Вот почему там, где остальные студенты *уже* шли, она все *еще* летела, не в силах опуститься на землю.

В глазах же упомянутых мною немногочисленных преподавателей этот полет был совершенно естественным состоянием: они сами летали и порхали в научных эмпиреях, и то, что сверкало в ее глазах, не нуждалось в проверке на зуб. Она училась так, как будто все еще бежала по пустырю от того – блокадного – мужика-людоеда, с той только разницей, что тогда, в детстве, она бежала от него, а теперь она бежала к тому, что с каждым университетским годом все яснее видела за пустырем. Они же учили ее так, словно, стоя под спасительной сенью здания, к которому она стремилась, видели за ее спиной того мужика. Амплитуды с избытком хватило на то, чтобы немедленно по окончании университета влететь, распахнув дверь с улицы, в Первую английскую школу, что снова было делом неслышанным. Кандидатуры преподавателей для этой школы рассматривались чуть ли не на бюро райкома.

Завет

Мне было шесть, когда родилась моя младшая сестра. Там же, прямо в роддоме на Васильевском, она заразилась золотистым стафилококком, вернее, они ее заразили: всех новорожденных выкупали в общей ванночке. По маминым воспоминаниям, факт этот не был ни безответственностью сестер, ни недосмотром врачей. Позже, когда мамы с младенцами оказались в больнице Педиатрического института, врачи, лечившие их, объясняли действия своих роддомовских коллег чуть ли не научным экспериментом, выпавшим на младенческую безответную долю. Казалось бы, такое объяснение должно было накалить страсти, но 1963-й был еще очень «научным» годом. Космос, физика, большая химия рождали своих героев, и объяснение сошло за уважительное. В продолжение трех летних месяцев заразу методически изгоняли из детской крови, но побежденная болезнь не осталась без последствий: еще лет десять-одиннадцать, года до 1974-го, когда я закончила школу, она давала знать о себе симметричным высыпанием на сестренкиных ручках и ножках, а в периоды вспышек болезненно воспаленной коркой на лице. Это называлось диатезом. Его сушили зеленкой, и сестра время от времени ходила с ног до головы усыпанная симметричными зелеными точками. Научный опыт роддомовских врачей не прошел без последствий и для меня. Правда, оказалась я не в больнице Педиатрического института, а на даче с детским садом. До этого, как родители потом называли его, волюнтаристского опыта роддомовских врачей я была домашним ребенком.

Детсад, в который меня определили, на лето выезжал в Ушково – дачный поселок на бывшей финской территории. Чурбачки, прибитые к стволам высоких финских сосен, напоминали о тех временах, когда по ним лазили финские кукушки-снайперы. Об этих кукушках проболталась большая дочка воспитательницы, которая жила вместе с матерью в дощатом домишке-сараяе в самой дальней части территории. Сосновых кукушек мы представляли себе смутно. Ее мать, Лариса Львовна, работала в нашей, старшей, группе посменно (утро-вечер), меняясь с другой воспитательницей, Ниной Ивановной. Ларису Львовну мы любили больше, потому что, во-первых, с нами дружила ее дочка, а во-вторых, по вечерам, в свою смену, Лариса Львовна пела с нами песни: про сверчка за печкой, про коричневую пуговку и про Леньку Королева. Когда ей выпадала вечерняя смена и Лариса Львовна будила нас после дневного сна, спальни оглашались криками: «Ура! Лариса Львовна!» Она не пресекала неумеренных восторгов. Войдя в раж, некоторые из детей, пользуясь хоровой безответственностью, переиначивали ее трудное отчество и вопили: «Лариса Вольна!» Этого она тоже не пресекала. Лариса Львовна ждала ребенка. Ее дочка, в материнскую смену болтавшаяся с нашей группой, сообщила нам по секрету и об этом, и, распевая про Леньку, мы косились на Ларисин живот – дочка ввела нас в курс дела. Песенка про Леньку словно бы имела отношение к этому животу, как будто Лариса ждала мальчика, который должен был погибнуть на войне. Осенью она действительно родила сына. Нина Ивановна была старой и песен с нами не пела, но мы ее все-таки любили, потому что она рассказывала нам про коммунизм.

Утром после завтрака, взявшись парами, мы уходили за территорию на залив. Сначала по песчаной дороге мимо высоких дощатых заборов, огораживающих другие территории, мы шли вдоль придорожных канав, в которых стояла вода, затянутая пластинчатой ряской. Запах распаренных солнцем кустов шиповника стоял в воздухе. Под сандалиями хрустели мелкие камешки. Длинные двойные иглы финских сосен прилипали к подошвам. Мы пересекали шоссе, впечатывая налипшие иглы в слабый, размягченный солнцем асфальт, который пах смолой. За асфальтированной полосой открывались песчаные дюны, лежавшие гребешками у края залива. Нина Ивановна указывала нам место в тени, под соснами. На открытое солнце медсестра выпускала нас на считанные минуты, выбрав каким-то одной медицине известным способом наиболее благоприятное время.

Старшая группа жила в старом двухэтажном доме, похожем на все дома ленинградских курортов. Спальни мальчиков на первом этаже, девочек – на втором. Перед тем как уйти к себе, воспитательница, заканчивающая вечернюю смену, заходила пожелать всем спокойной ночи. Сначала стихал шум у мальчиков, потом слышался скрип деревянной лестницы. Мы уже лежали, дисциплинированно сложив руки. Она обходила спальни, усаживалась на стул в среднем коридорчике, куда выходили двери всех трех спален, и, сидя в этой точке обзора, прислушивалась, как мы засыпаем. Этого ритуала обе воспитательницы придерживались одинаково, не вкладывая в него ничего от себя. Каждая сидела, погрузившись в свои думы, но если думы Ларисы Львовны, вероятнее всего, витали вокруг будущего сынка и были до такой степени личными, что с засыпающими шестилетками она не могла и не хотела ими делиться, то мысли Нины Ивановны, как очень скоро выяснилось, в эту предночную пору были такими, что ими не грех было поделиться с уставшими за долгий и суматошный день детьми. «Когда я сижу вот так, на этом стуле, – она начала однажды тихим напевным голосом, как начинают сказочный зачин, – я думаю о том, что скоро наступит прекрасное время, оно называется коммунизм». Она произносила это с такой уверенностью, словно речь шла о чем-то определенно близком, как завтрашнее утро. Как будто стоило нам закрыть глаза, чтобы во сне незаметно для себя пережить темноту, и новое счастливое время само собою наступит. «Закройте глазки». Мы слушали ее, не открывая глаз. «Это будет такое время, когда все будут счастливы: и вы, и ваши родители, и ваши воспитатели». – «А детский сад будет?» – «Будет, будет», – она уверяла вопрошающего. «Я не хочу, чтобы детский сад». – «Значит, не будет. Кто захочет, для того будет, кто не захочет – не будет». – «А как же на дачу?» – «На дачу будут ездить все». – «И мама?» – «И мама, и мамы». Теперь, когда выпадала ее смена и Нина Ивановна садилась на стул в среднем коридорчике, всегда находился кто-то, просивший «Расскажите», – и она снова и снова, добавляя новые подробности и обязательно ссылаясь на науку, словно эта ссылка могла укрепить мечты шестилетних, рассказывала о том, будущем времени, похожем на нашу дачу, пахнущую распаренным на солнце шиповником, мягкой асфальтовой смолой и пресной водой залива.

Дождавшись, пока все уснут, воспитательница уходила в свой дощатый домик, а нас оставляла на ночную няню, которая, обойдя спальни дозором, укладывалась спать на диван у самой входной двери. Закрыв глаза, я еще некоторое время по мечтательной инерции видела песчаную дорогу, зелень лопухов над канавами, неровные кроны высоких сосен – все то, что должно было наступить наяву, стоило только перетерпеть неважное ночное время. Оно приближалось к моим векам с каждой секундой и готово было вот-вот наступить, но в самый последний момент все-таки не наступало, потому что наступало другое время – время моих ночных воспитателей. Полные, в белых халатах, с плоскими, почти неразличимыми лицами, сейчас я бы сказала, безликие. Они были похожи на детсадовских поварих. Поварихи никогда не выходили в столовую. Однажды я видела, как поварихи готовят: мешают в больших котлах, на которых красной краской написаны буквы и номера.

Ночные воспитатели не садились на стул в среднем коридорчике, куда выходили двери всех трех спален. Они не нуждались в этой общей точке обзора, потому что все дети спали, незаметно для себя пережидая неважное ночное время. Ночные воспитатели были моими и учили одну меня. Они садились на край моей кровати так легко, что под их полными безликими телами кровать не скрипела.

Задирай повыше свою ночную рубашку – под самые подмышки, аккуратно ложись на спину, чтобы не описать пододеяльник. Теперь можешь уснуть, но не легким, неприметным сном, уносящим в утро, а коротким, недолгим, не доутренним. Если проспешь до утра – ночные воспитатели не думают ни о своих детях, ни о коммунизме, – придут обе няни, ночная и дневная, и станут кричать, что ты опять обфурилась, и ты – урод, не как все дети, эта только

ссыт, полюбуйтесь, снимай с себя все обоссанное и убирайся вон, теперь стирай за ней, нарожают уродов.

Вот я просыпаюсь и щупаю рукой мокрое. Осторожно, никого не разбуди, разбудишь, будут смеяться, вылезай из кровати, одеяло в сторону. Радуйся, что рубашка суха, радуйся, что окно раскрыто и ночь суха, как рубашка, радуйся, что подоконник невысок и можно вскарабкаться с коленками, радуйся, что ноги свисают из окна, а руки держат простыню. Терпеливо, не давая закрыться глазам, маши и маши своим мокрым пятном, пока оно не пожелтеет. Нет у тебя – только не закрывай глаз – ни родителей, ни нянь. Досуха, до желтого пятна, до их неминуемого и легкого – белесого рассвета, до пляски осенних листьев, до белых мух... Вот ты сидишь в тоске и страхе на открытом окне, под ногами земля и небо над головой, мальчики внизу и девочки за спиной, и не смеешь заснуть, потому что мокрое пятно еще не светится свечной желтизной и никто не придет к тебе, кроме нас, потому что ты – урод, но мы милосердны, и так будет всегда.

Они уходили с первым рассветом, и я сползала с подоконника, ловко застилала простыню и засыпала. На рассвете их нет у моей постели. Я сплю совершенно свободно, незаметно и легко дожидаясь неминуемого утра – вместе со всеми. Они снова спасли меня и не вернуться раньше ночи.

Темно-бархатная роза

Пожалуй, только теперь я могу оценить бесшабашную смелость того чиновника, который первым придумал это громоздкое название: «Средняя школа с преподаванием ряда предметов на иностранном языке». Не сомневаюсь, что сам-то он не говорил ни на каком другом, кроме русского, то есть все иные языки были для него не другими, а именно *иностранными*, теми, на которых говорят в *иных* странах. Может быть, он мечтал побывать в ином, заграничном, запредельном мире, счастливо вымышленной моделью которого стал для него Первый Московский фестиваль молодежи. А может быть, он всегда, сколько себя помнил, мечтал – как тишайшие дети втайне мечтают стать космонавтами – выучить свободно другой – любой – язык. Мечтал, не веря своей мечте. Ну пусть не он, кто-то другой, но похожий на него, хоть и по-другому одетый, невиданным образом шевелит губами, глотает звуки, внятные не всем, а таким же избранникам. А может быть, его родное дитя подходило к семилетнему рубежу, и он рискнул возложить на ребенка свои несбывшиеся надежды. Какой такой ряд предметов он имел в виду? Как не побоялся так неуклюже заявить о своей мечте? Знал ли о том, как – окольными путями – случается по слову? Нет ответа.

На этот раз он взялся за дело особенно энергично. Самолично, не доверяя заместителям, развернул карту и, оглядев свой Октябрьский район, выбрал – у самого края, почти у воды. Одна улица между школой и Невой, да и та – Галерная. Он, конечно, назвал ее Красной: старые названия сродни иностранным. С противоположной стороны – Новая Голландия – остров за крепкой стеной и тополями. От блокадных бомбежек остался зазор между старыми домами. В начале шестидесятых он стал пятном застройки: прореху закрыли школой. Один раз в году, первого сентября, внизу по периметру дворовой площадки выстраивались классы – десять пар «а» и «б». Классные руководительницы сбивали шум, и шестьсот без малого учеников ровняли ряды на выход Матан. Она появлялась на балконе в длинном, до полу, глубоко декольтированном бархатном платье. За нею, соблюдая интервал – полшага от бархатных плеч, шли двое мужчин: завучи английского и русского языков. Раз и навсегда. Слева от Матан – завуч английского языка Борис Григорьевич Кац, сорока пяти лет, еврей и дипломат, воплощенная деликатность, которую однажды мы видели в слезах любви к нам, часто – в сдержанном волнении за школу и один-единственный раз – в страхе за себя. Справа от Матан – завуч русского языка Сергей Иванович Беликов, лет сорока пяти, русский, обладатель длинной русой челки, которую он откидывал со лба широким есенинским жестом, любивший и баловавший нас и знавший русскую литературу в объеме институтской программы. В глубине балкона соблюдалось место секретаря парткома, а точнее, дамы-секретарши. На моей памяти их сменилось три: одна полная и мягкая, две другие – жилистые, но не твердые.

Еще глубже, у самой кирпичной стены, висело или – в зависимости от погоды – обвисало школьное знамя, у древка которого несли почетный караул. Бархатное знамя за бархатными плечами. В определенном смысле знамя было реликтом других времен, которых мы уже не застали. Само по себе оно было бы привычным и почти неприметным элементом школьного обряда. Декольтированное же платье – реликт еще более отдаленных, углубленных в прошлое времен – неприметным остаться не могло. Больше того, недавнее прошлое знамени – именно в силу своей незаметности – побеждалось давним прошлым платья, но для нас, стоявших в самом низу под балконами, платье не просто играло роль притягательного знака дальнего времени, удаленность которого подчеркивалась бархатом знамени. Удвоенный, дублирующий и одновременно компрометирующий себя бархат вносил явную двусмысленность в этот из года в год повторяющийся обряд. Эта двусмысленность казалась нашим юным глазам какой-то веселящей душу несообразностью, за которой, впрочем, могла таиться еще неясная, а значит, преждевременная глубина.

Я уже не слышу приветственных слов, льющих сверху и повторяющихся из года в год. Это вовсе никакие и не слова, поскольку даже в момент произнесения в них не было смысла, достойного полного и нераздельного внимания шестисот пар ушей. Поэтому, слушая и не слушая, паства веселилась исподтишка. Легкое отчуждение, результат трехмесячных каникул, позволяло взглянуть на ближнего со стороны – взгляд, суливший многое. Вряд ли Мамап замечала легкомысленное шевеление в наших рядах. С ее верхотуры она видела довольно широкий двор, засаженный чахлыми деревьями, который на один час расцвел скромными белыми (передники и рубашки) и красными (галстуки) цветочками. Эфемерные клумбы, которые должны были разбежаться с первым школьным звонком. Их яркость не могла не радовать ее учительских, почти материнских глаз. Этот сад был осенним, и она – темно-бархатная роза – торжественно и двусмысленно возносилась над ним, и голос ее медоточил.

С первого же дня своего директорства Мамап дорожила честью школы. В ее представлении эта честь складывалась не только из общей картины успеваемости, но и из того, насколько в школе *соблюдаются традиции*. Некоторые из этих традиций были введены еще прежней директрисой – невзрачной, но властной женщиной, умершей в 1964 году, то есть в первую же нашу зиму. Даже до нас, первоклассников, дошли слухи о том, что Полину Ивановну загубила неотложка. Говорили, что врач принял инфаркт за отравление и промыл ей желудок, отчего она мгновенно и умерла. Кстати, вопросом о том, с чего бы это быть инфаркту у директора школы, никто не задавался. Именно при Полине Ивановне было введено для того времени невиданное обыкновение. Я имею в виду собеседование при приеме в школу, в результате чего оба наши класса, «а» и «б», стали первыми *отобранными* классами. Умершая директриса ввела и странный обычай, свято соблюдавшийся в первые годы Мамап. За полчаса до начала уроков в арку, отделявшую вестибюль от длинного школьного коридора, вставала сама директриса и один из завучей. Каждый ученик должен был остановиться и сделать легкий поклон (мальчики) или реверанс (девочки) и, лишь получив милостивые кивки с обеих сторон, следовать дальше. Этот же традиционный поклон ожидался от нас и тогда, когда на нашем пути встречался *любой взрослый*. Кстати, это не всегда было делом безопасным. Однажды во втором классе я, сбегая по лестнице, наткнулась на всю троицу: Мамап с эскортом одесную и ошую. Они шествовали мне навстречу, и я, на бегу сложившись в реверансе, скатилась с лестницы вверх тормашками, провожаемая тремя ошарашенными взглядами. Пока я вставала, Мамап, не в силах сойти с места, смотрела на меня в немом испуге. Позже этот обычай выродился в привычку здороваться со всеми взрослыми, и было смешно наблюдать за каким-нибудь *родителем*, бредущим по нескончаемому школьному коридору, когда толпа, валившая навстречу, здоровалась с ним на десятки голосов, а он ошарашено кивал по сторонам, как китайский болванчик. Вообще-то, положив руку на сердце, родителей в нашей школе не жаловали. Конечно, их встречала исключительная вежливость, то есть учителя, как говорится, держали их *в курсе*, но этот курс лежал в стороне от сокровенных земель. Когда же дело доходило до дела, врата закрывались, как будто кто-то подавал возглас: «Оглашенные, изыдите!»

Порог

Теперь мне пора переходить к делу – к рассказу о том, что в действительности случилось с нею, с нами, с нашим миром. Если угодно, с нашим мирком. Однако то, что я употребляю уменьшительную форму, не должно вводить в заблуждение. Тот мир, к которому я принадлежала, вызывает мое неизменное уважение, сводящее на нет употребленную мною уменьшительную форму. Это уважение связано с одним в полной мере присущим ему свойством, которым не может похвастаться большой мир. Это свойство целостности. Людям, принадлежащим большому миру, оно известно понаслышке или из книг, и, может быть, именно по этой причине они всячески стремятся это свойство опорочить. У меня нет их сил с ними бороться.

Вскользь упомянув о целостности нашего мирка, я должна упомянуть и о том, что эта целостность никоим образом не означала однородность. Наш класс дружным никогда не был. В нем сосуществовали, не сливаясь друг с другом, три группы, клана или касты, принадлежность к каждой из которых определялась в первую очередь социальным происхождением родителей, а уже во вторую – нашими личными способностями и удачей. Эти группы образовались сами собой. В высшую попали дети гуманитарной интеллигенции, в среднюю – технической, а в низшую – те, чье социальное происхождение не имело значения, потому что каждому было понятно, что они тупицы и дураки. Теперь я думаю, что высшие узнавали друг друга по особым словам и выражениям, которые они черпали из отвлеченных разговоров своих родителей – разговоров, не относящихся к текущим домашним и служебным делам. Эти особые выражения играли роль разорванных бумажек, неровности которых мгновенно совпадали, стоило совместить их – сложить вместе. Своего рода пропуск или пароль. В наших семьях – я имею в виду себя и мою ближайшую подругу Иру Эйснер – такие разговоры не велись.

Справедливости ради я не хочу преувеличивать предопределенность нашего разделения. Группы образовались в младших классах, однако с самого начала перегородки между ними не были непроницаемыми. То есть в принципе можно было попасть в высшую группу, однако накатанного пути для незаконного попадания не существовало. Тут можно было ожидать любых неожиданностей. Так, одна девочка, по рождению принадлежавшая ко второй группе, мгновенно попала в первую после того, как ее мама съездила в Югославию и привезла оттуда много дешевых, но невиданных по красоте сапожек и платьев. За нею возвысилась ее ближайшая подруга, потому что подходила ей по росту – обе в то время были самыми высокими девочками в классе.

Теперь, возвращаясь в прошлое, я должна признаться, что и у меня однажды была такая возможность, однако я ее проворонила. Мой почерк был самым лучшим в классе. Как выяснилось много позже, его красота внушала робость одной из высших девочек. Пораженная моей каллиграфией, она-то и сделала попытку поднять меня до своих высот. Эта попытка была сделана в четвертом классе и совпала с важнейшим событием моей жизни, а может быть, само по себе это важнейшее событие и стало своего рода детонатором так и не последовавшего взрыва. Дело в том, что до этого времени я носила толстые хлопчатобумажные чулки, которые пристегивались к поясу металлическими застежками на резинках. Чулки были короткими, и из-под платья сверкали голые ноги и металлические застежки. В то лето 1967 года мой отец съездил в командировку в Чехословакию, откуда привез мне несколько пар нейлоновых колготок – синие, зеленые, красные и цвета морской волны, и еще одни темно-голубые – на вырост. Первого сентября я явилась в школу в колготках, и это решило дело. Не прошло и месяца, как Лариса Юрченко подошла ко мне на перемене и в качестве вступительного предложила вопрос, ответ на который был бы очевидным для любой высшей девочки, однако меня он поставил в тупик. «Что бы ты выбрала, французскую шубу или дубленку?» Я не знала, что такое дубленка, а потому жалко промямлила «французскую шубу», и была решительно отсеяна из пре-

тендентов. В тот год каждому дураку из «своих» было известно, что выбирать надо дубленку. Разделение, закосневшее к шестому классу, не касалось списывания домашних заданий, подсказок на уроках и решения чужих вариантов на контрольных работах. Своих отличников у верхних не было. Они относились к учебе с некоторым оттенком благородной барственной лени, в то время как большинство из наших не позволяло себе расслабляться, может быть, надеясь компенсировать некоторую свою социальную неполноценность плебейской усидчивостью. Наш час наступал на контрольных работах, когда глаза и верхних, и нижних одинаково молили нас о помощи.

Конечно, в те времена нашего, весьма замкнутого, существования мы вряд ли серьезно размышляли о свойствах нашего мирка и большого мира, ограничиваясь предварительными профессиональными устремлениями, которые в значительной степени охлаждались трезвыми, почерпнутыми от наших родителей оценками возможности поступления в тот или иной вуз. Само понятие вуза было некой чертой, границей, порогом, отделяющим нас от большого мира. Этот порог именовался словом «поступление» и сам по себе застил нам глаза, не позволяя взглянуть перспективу, которая должна была бы за ним открываться. Проще говоря, поступление было в значительной степени самоцелью. Дальнейшее мы не обсуждали. Я могу вспомнить только один случай, который можно назвать попыткой заглянуть за этот порог. Кажется, в шестом классе мы с Ирккой шли домой, и наш разговор зашел о поступлении. «После института я уеду». Она произнесла это совсем неожиданно и очень серьезно, и именно поэтому я мгновенно поняла – куда. Я помню, что я начала горячо ее отговаривать, как будто дело решалось именно сейчас. Она слушала, не перебивая, однако смотрела куда-то в сторону. Я подумала, что она уже жалеет о том, что сказала об этом мне, но у меня не хватало благоразумия остановиться. Я летела вперед, приводя все новые и новые доводы, которые, судя по ее выражению лица, не были для нее новостью, словно кто-то до меня, может быть, она сама, навязчиво повторял их на все лады несчетное количество раз. Она переждала мою атаку, дождалась, когда все мои доводы кончатся, и только после этого заговорила сама. Ни опровергать меня, ни разъяснять она не стала. Она легко перешла какой-то порог, перед которым толклись мои доводы, и заговорила о другом. «Знаешь, о чем я все время думаю. Дед с бабкой прожили здесь почти всю жизнь, но все-таки плоховато говорили по-русски. Их родители совсем не говорили. Если мои дети родятся там, их родной все-таки будет не русский. Знаешь, я все время думаю об этой цепочке. О том, что я получаюсь где-то посередине. Ну как переводчик. Если бы все они встретились». Я не нашлась с ответом, да и ответа-то она, конечно, не ждала. Она сама очень быстро перевела разговор на другую тему, конечно же, нисколько не предполагая, что весь этот странный разговор останется во мне навсегда, чтобы по прошествии двадцати с лишним лет соединить какую-то другую мою цепочку, став для меня одним из объяснений того, что случилось со всеми нами. Хотя в нашем – общем – случае дело не только в языке.

Впрочем, Ирка была права, переведя разговор на другую тему.

Выбор поэта

Думаю, до поры до времени эти тонкости общественного развития оставались невидимыми для учителей. Применительно к нам учителя мыслили категориями дружбы и дисциплины. Выбор именинных гостей объясняли дружбой, успеваемость – индивидуальными природными способностями и, едва ли не в той же мере, усидчивостью. Что само по себе правильно. Я же, со своей стороны, настаиваю на ином ракурсе лишь потому, что однажды – кстати сказать, при весьма неподходящих для социальных обобщений обстоятельствах места – мы все как один ввязались в спор об обстоятельствах времени, точнее говоря, о том, что со временем стало его важнейшим обстоятельством. Смешно сказать, но именно та история, случившаяся в нашем 6 «б» классе, была первым актом истинного и долгого противостояния, по отношению к которому персональный состав наших дней рождения был лишь первой прикидкой.

Сама по себе она не стоила выеденного яйца. Анастасии Федоровне – нашей тогдашней учительнице по русскому языку и литературе и секретарю школьной партийной организации – пришла в голову мысль устраивать на своих уроках пятиминутки поэзии. Идея была встречена с энтузиазмом, к искренности которого примешивалось желание свести до минимума время опроса. При умелом подходе пятиминутка сулила растянуться минут до двадцати. Анастасия же Федоровна, кроме естественных для учителя литературы просветительских устремлений, метила на серию мероприятий, которые можно смело записать себе в актив. Таким образом, наши интересы счастливо совпали, что само по себе – уже половина успеха. Обрадованная нашей сговорчивостью, Анастасия предложила не откладывать дела в долгий ящик, а тут же, не сходя с места, выбрать поэта на будущий урок. Выдвижение кандидатов она предоставила нам самим, сформулировав ограничение лаконично, почти что в виде строчки кроссворда. Поэт, не входящий в текущую школьную программу. Окончательный выбор она, конечно, предполагала оставить за собой. Шум поднялся невообразимый. «Средние» выкрикивали Есенина, Друнину, Ваншенкина, «верхние» – Мандельштама, Пастернака, Ахматову.

Я очень хорошо помню выражение ее лица, когда она терпеливо вскидывала глаза навстречу нашим крикам, тихонечко постукивая по столу обручальным кольцом. Душою она, конечно, была с «нами», но «они» напирала сильнее, однако Анастасия предпочитала не вмешиваться. Может быть, она боялась своим преждевременным вмешательством спугнуть наш энтузиазм, а может быть, не видела в этом противостоянии ничего опасного ни для нас, ни для себя – дело-то, так сказать, домашнее. А может быть, еще того проще, она не читала тех, кого выкрикивали «верхние», которые, в свою очередь, вряд ли и сами их читали. Но: французская шуба или дубленка?.. Если это простейшее объяснение верно, то спор и вовсе обретает черты отвлеченности и беспочвенности. А может, она-то как раз и читала, однако, подозревая, что никто из нас не читал, надеялась, что нам самим не понравится эта заумь. И все-таки Анастасия Федоровна попыталась доказать верность нашего мнения, однако «верхние» переорали.

У меня дома Пастернака не было. Пришлось заказывать на Фонтанке, в юношеском читальном зале. Читала, как на чужом языке, хуже, чем на чужом – странные слова, хрустящие острыми осколками, ранили мою старательную память, когда, все-таки выбрав, я учила наизусть: я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет, какие такие суставы в запястьях, надо к завтрашнему, потому что нельзя же стихи по бумажке, неужели Федька действительно это любит, кричал, что лучший поэт, не знать нельзя, чтобы комкая корки рукой, если переставить запятую, получится – рукой мандарина... Испариной вальса, придется взять с собой листочек – утром еще повторю.

Федька Александров сидел на последней парте, пролистывая книжечку. Я сразу узнала – такая же, как в Публичке. Принес из дома. Я вышла первой, с листком. Читала, не подглядывая. Успела доучить утром – сложить осколки. Анастасия кивала, уткнувшись в стол. Я вер-

нулась на место, сунула листок в передник. Федька поднял руку, улыбаясь, мне показалось, виновато. Улыбаясь, шел по проходу. Сказал, что так и не выбрал, выбрать трудно, прекрасные стихи, буду читать по книге. Анастасия не возражала. Прежде чем начать, он полистал, откидывая голову и отводя руку с книжкой. Анастасия смотрела, как мышь на крупу. Читал, растягивая слова, вскидывал кисть, неслышно пощелкивая пальцами. Анастасия ежилась, но терпела. Минута, две, шесть... Народ скучал. Желание смеха одолевало всех без разбора, сильное, сильнее всех разделений. Преграды оплывали: то тут, то там лопались легкие пузырьки. Она постучала о стол обручальным кольцом – скорее по привычке. Хихиканье привычно улеглось. Расцветало беззвучное веселье. Больше она не останавливала. Глядела весело, как на клоуна. Наверное, она думала о том, что все сделала правильно, дети должны разобраться сами, тогда это останется. Чтец поглядывал поверх книги, сбиваясь все чаще. Не дочитав, мотнул головой, прищелкнул каблуками с поклоном. Нескладно и криво. Смеялись все. Анастасия склонилась над журналом смеясь. Федя заглянул под руку. Шел на место, победно улыбаясь – оценка была великодушной. Больше никто не поднял руки. Пятиминутка кончилась. На следующем уроке читали Друнину.

Карточка, с которой живу я, не хохочет. Она смотрит на меня с нежностью.

До сих пор я помню наизусть и не люблю их, боюсь этих ломких строк, как будто, выучив, ими отравилась. Встречаю время от времени – иногда их цитируют. Каждый раз я объясняю свою неприязнь тем, что, наверное, учила их через силу. Объясняю, зная, что это – неправда. Многие из того, что я люблю больше жизни, я учила через силу – со страхом и смирением. Может быть, какой-то тонкий яд проник в меня тогда – с пылью юношеского читального зала, со звуком постукивающего о деревяшку чужого обручального кольца. Золотой ободок на безымянном пальце. Однажды я заболела гриппом, а накануне съела полную сковородку жареных кабачков. С тех пор меня мутит от этого запаха.

И единственный взгляд

После зимних каникул наша английская группа осталась без учительницы. Муж Лидии Александровны завербовался в Египет на строительство Асуанской плотины. Замену заранее не подобрали. Наверное, она до последней минуты держала свои семейные планы в тайне – боялась сглазить. Как водится, нашу группу разбили на две и отправили к другим: половинку к Валентине Павловне, половинку – к Борису Григорьевичу. Я всегда ходила к Б.Г., потому что у него училась моя Ирка. Через месяц он заболел. Я помню этот день. Мы сидели за партами по трое – в английских кабинетах парт всегда мало, и, не поднимая шума, надеялись, что нас оставят в покое, забудут. От урока прошло минут десять. Надежды сбывались. Дверь распахнулась, Сашка Гучков влетел как черт на помеле. «Сека! Идут! С директрисой!» Дверь захлопнулась и снова открылась. Мы поднимались с мест. Крайние вставали в проходах, замирая по солдатски. Средние скрючивались, нависая над партами. Вошла маленькая, неправдоподобно маленькая женщина, закрыла за собой дверь и взмахнула рукой. Директрисы не было. Женщина назвала свое имя – непривычное для нашего русско-английского слуха, и заговорила по-английски. Шум затих. Никто из учителей *так* по-английски не говорил. Не в том дело, что они не знали языка – мы-то знали еще хуже. Наверное, это странно звучит, но английский, к которому мы привыкли, ничем не отличался от математики или литературы: английский второклассников, английский шестиклассников. Он был по нашей мерке или чуть-чуть на вырост. Учителя учили нас так, как родители покупали одежду.

Она говорила свободно и быстро, нисколько не боясь, что мы не поймем, как будто знала заранее, что не понять нельзя. Почти не глядя на нас, она рассказывала какую-то свою историю, время от времени подходила к доске и быстрым белым мелком чертила английское слово – без перевода. Это слово мы слышали впервые, и она заранее знала об этом. Мы видели, как оно выступает белым из-под ее руки, и этого было достаточно и для нее, и для нас, словно она доверяла нашим глазам больше, чем нашим ушам, как будто наши глаза уже встречались прежде с этим словом и узнавали его, стоило ей написать. Ее английский был легким и веселым, шутки – быстрыми, каблуки – тонкими и высокими. Наверное, я что-то собралась сказать Ирке, потому что, отвлекшись на секунду, увидела Иркино хмурое лицо и скошенные в сторону глаза, как тогда, во время того нашего разговора. Как будто Ирка, отвернувшись от моих доводов, продолжала тот разговор, но на этот раз – не со мной. Секунду-другую я еще стояла у порога – неожиданным гостем. Потом отвернулась и отошла. Я снова стала глазами, зоркими, как ястребы. Смотрела вперед, то на доску, то на маленькую женщину, стоявшую ровно, как тетива. Она не видела меня, да и разве могло ей прийти в голову выхватить кого-то одного из-за парт переполненного класса, выделить из настоящего ради сомнительного будущего. На это требовались другие глаза, смотрящие издали на нас обеих. Мне, двенадцатилетней, они были неведомы, я не умела различить. Все, что я сумела, это расслышать голос: «Ты будешь с нею всегда». Зазвонил звонок. Она замолчала, как будто остановилась на полуслове. Воспользовалась звонком как порогом, за который не пожелала переступить. Звонок давал ей на это полное право. Она отошла к учительскому столу, приблизилась к нему впервые за весь урок. Все потянулись к выходу, всё еще улыбаясь ее истории. Проходя, каждый говорил «до свидания», и она прощалась с каждым. Спокойно и безразлично. Ей-то не было никакого дела до того, свидится ли она с нами снова. Она стояла все еще ровно, но я уже видела, как ослабла тетива. Все ушли, и я одна пошла вперед по проходу.

Она смотрела, как я приближаюсь и с каждым шагом становлюсь все меньше, так что в конце концов она уже различала с трудом. Она же становилась больше, длиннее стали узкие крылья ее носа, острее скулы, пустее улыбка, не оставлявшая надежды. Еще не поздно было просто-напросто сказать «до свидания». «Вы расскажете дальше?» Я не знаю, что заставило

меня спросить. Я была одна, но неужели в тот миг, единственный за всю нашу с нею жизнь, она не знала того, что *уже* знала я? Я спросила и снова стала большой, больше нее. Она поморщилась, мои слова были для нее чудовищной грубостью, ей пришлось собрать силы, чтобы сдержаться. Я отступила, не вполне осознавая, что случилось, но уже содрогаясь от содеянного, и тогда за моими плечами встали мои детские воспитатели – страх и тоска. Шесть лет, пока я училась всему на свете на свой страх и риск, они не давали о себе знать. Но теперь, ах, как же ловко они выбрали время. Спустились на помощь из моих давних лет, как с неба. Шорох крыльев, поднимавшихся над моей головой, как руки – для защиты, чтобы я поняла, что я люблю ее.

Господи, почему ты оставил меня? Я не знала слов, я не умела говорить, я была бессловесна. Чему могли научить меня мои бессловесные учителя? Это говорю я, та, какой я стала сейчас – в мои сорок лет. Теперь я знаю множество слов, и русских и английских. Я знаю слова, которые умнее меня, они сами становятся мною, моей памятью, моими мыслями. Я умею глотать их, как тройчатку, и класть под язык, как валидол. Русские и английские – обезболивающее двойного действия. Что я могу знать о времени, о Его времени? Говорят, Он смотрит на нас всегда, а если и отводит взгляд, всегда можно позвать. Почему же я до сих пор уверена, что со мной по-другому? На меня – один-единственный миг, один-единственный взгляд – тогда. Нет ни правила, ни закона, по крайней мере, я не могу вывести. Ничтожен и слаб. Что ж, пусть так и будет: страх и тоска и единственный взгляд.

На самом деле я не онемела. Уже на следующий день я почти и не помнила об этом случае и болтала как ни в чем не бывало. Даже приходя на урок английского и видя ее воочию, я забывала о ночных страхах и слушала взахлеб. Уроки пошли своим чередом, она больше не возвращалась к той истории, даже не вспоминала, как будто вся история и белый мелок нужны были лишь для первого знакомства, для того, чтобы посмотреть почти безразличными глазами, как *все* проходят мимо нее, бормоча «до свидания». Между тем Б.Г. вышел на работу, и число английских групп вернулось к первоначальной тройке. После долгого перерыва, занятого болтовней, Ирка Эйснер снова заговорила со мной серьезно. Она решительно вознамерилась перейти в группу к Ф. Отводя глаза, Ирка говорила о том, что ей необходимо *такое* качество обучения, но как об этом скажешь... В общем, она уговорила меня идти к Б.Г. вместе. Б.Г. выслушал спокойно. Не знаю, было ли ему обидно: Ирка – лучшая в классе. Точный математический ум, память, добросовестность. Перебивая друг друга, мы говорили о дружбе. Он согласился сразу. Сказал, что ему будет ее не хватать. Единственное условие – подобрать кого-то из моей группы, кто согласился бы перейти к нему вместо Ирки – добровольно. Вероятнее всего, это условие казалось ему легким. Мы же, выйдя из его кабинета, стояли ни живы ни мертвы, потому что – тут уж ни одна из нас не отводила глаз – кто же, находясь в здравом уме, согласится уйти от Ф. И все-таки Ирка не хотела сдаваться. Перебирала пофамильно. Сошлись на Лариске Панферовой. Тройки. Ума с гулькин нос. В группе Б.Г. подруга. Врала точно и артистично. Хочет перейти, потому что дружим. Б.Г. не против, только попросил замену. Он – добрее, спрашивает не так зверски. *Сам* предложил ее, Панферову. Лариска согласилась сразу. Мы в Иркой чувствовали себя победительницами. Наконец-то, говорили мы. Конечно, удобно. Перезванивались вечерами, обсуждали домашнее задание.

Ночами я исходила болью. Боль лилась из глаз, как слезы, сочилась изо рта, как слюна. Подушка, пропитанная болью, становилась мокрой, как детская простыня. Я не вставала сушить. Ужас смерти – ее смерти – обессиливал меня. Из ночи в ночь я видела одно и то же. То, что увидела наяву через двадцать пять лет. За ночь боль подсыхала сама. К утру на голубой наволочке оставались желтоватые подтеки. Так я и выплакала свои глаза. Через три месяца мое зрение испортилось. К маю глаза стали плохими: 07–06. Мне закапали лекарство и на две недели освободили от уроков. Я приходила в школу и слушала. Ни читать, ни писать я

не могла. Потом мне выписали очки. Оправа была уродливой. Страх ее смерти отпустил меня. Теперь я боялась ослепнуть.

Голубоватый пол

В сентябре ей предоставили новый кабинет. Он находился в дальнем корпусе и был очень маленьким, парты – впритык. Летом его отремонтировали. Голубой линолеум, голубые стены. Первого сентября кабинет выглядел ослепительно. Классы и кабинеты мы убирали сами. На всю нашу школу приходилось две уборщицы. Они мыли кабинет директора и завучей, учительскую, вестибюль и лестницы. В каждом классе стояло ведро со шваброй. Учителя показывали, как мыть. У них получалось ловко. Так они мыли дома: тряпка – в ведро, выкрутить обеими руками, намотать на швабру. Привычное дело. Показывая, учительницы мыли с энтузиазмом. Их руки становились мокрыми и грязными. Это называлось влажной уборкой. Дежурные возили тряпкой, время от времени макая ее в ведро. На крашенных половых досках разводы были почти не видны. На нашем голубом линолеуме высохшие разводы становились желтоватыми подтеками. Через две недели дежурных трудов на нем не осталось живого места.

«Кто из вас читал Шекспира?» Она спросила по-русски и посмотрела холодно. Поднялась Федина рука. Взгляд остановился на нем, но не потеплел. «Что именно?» Рука опустилась и щелкнула пальцами. «Как это?.. – беззвучное пощелкивание. – “Ромео и Джульетта”». Он вспомнил название и улыбнулся. «Это все?» Стояла ужасная тишина. Она обращалась к нему одному. Остальные затаились. Она смотрела на него так, как будто нас, не читавших и этого, ее презрение не касалось. Мы были вне поля ее презрения. «Останешься после урока». Федя встрепенулся и смолчал. «Пол должен быть чистым. Вы знаете, что такое чистый пол?» Теперь она обращалась к остальным. «Кто дежурный?» – она спрашивала. Я поднялась. «Как на корабле», – она вынула из кармана белый носовой платок, стремительно нагнулась и провела. Развернула и показала. Мне. Серый след на белом. «Тебе понятно?» Теперь она разговаривала только со мной. Мне было понятно. Она скомкала платок и заговорила по-английски. На математику Федька вернулся к самому звонку. Я провожала глазами. Он заметил и согнал улыбку, как будто именно от меня должен был скрывать свое новое счастье.

После уроков я нашла тетю Валю и выпросила порошка. Она повела меня в подсобку под лестницей. Там стояли новые ведра и новые швабры. «Чего мыть-то?» – «Голубой кабинет». – «Ведро-то там есть?» – «Нету, и тряпка рваная». Она протянула ведро. «Порошку немного сыпь – не отмоешь». Она рвала мешковину. «А нету щетки какой-нибудь? Там на стенах еще написали, тряпкой не оттереть». Голубые стены были чистыми. Никто бы не посмел. «На. Посыплешь порошка на мокрую, щетиной потрешь, и сразу чистой водой. Не жди, пока засохнет». Она показала как. «На-ка еще швабру». Новую швабру она подарила мне от себя. Старое ведро и тряпки я подбросила в туалет. Притащила теплой воды – целое ведро. Отодвинула парты. Обмакнула щетку и нарисовала мокрый квадрат – метр на метр. Сыпанула порошок из плошки, встала на колени и принялась оттирать. Терла и макала, терла и макала. Стирала сухой тряпкой. Так меня никто не учил. Из-под желтых разводов проступала ослепительная сухая голубизна. Волосы выбивались из косы и лезли в глаза. Я отводила мокрой рукой. Вода в ведре темнела после каждого квадрата. В туалете я сливала грязную, мыла ведро и набирала чистой. Пять, шесть, сбиваясь со счета. За спиной в коридоре было тихо. Я допятилась до двери и разогнулась. Спину ломило. Ослепительное сухое сияние. Дверь скрипнула. «Ты еще тут? Домой-то собираешься? Мне записать». – «Вот, отмыла». Уборщица огляделась. «Отмыла, и хорошо. Теперь закругляйся». Она закрыла дверь. Я сняла туфли и пошла босиком. Все было сухо. Мой пол – чистый, как постель. Я легла и вытянула ноги. Ни одного подтека. Закрыв глаза, я думала о том, что теперь бояться нечего. Теперь я могу прочитать Шекспира.

В понедельник – грамматика, во вторник – учебник, в среду – английская литература, в четверг – учебник, в пятницу – домашнее чтение. К каждому уроку – свое. Для домашнего чтения взяли Киплинга. Про моряков. В первый же раз она не приняла ни одного ответа. Без

оценок. Выслушала и предупредила, что следующий раз будет оценивать так: две грамматические ошибки – 3, два невыученных новых слова – 3, медленный темп – минус один балл. Объяснила, как учить. Вам дается три листа книги. В понедельник читаете и выписываете новые слова, во вторник ищите их перевод по словарю. В среду их учите. В четверг пересказываете близко к тексту. *Только* в косвенной речи. Прямая не допускается. Через месяц втянулись все. Остальные группы постепенно привыкали: наши не высовывают носа. Смотрели, как на страдалцев. По утрам Ирка заходила за мной. По дороге мы гоняли друг друга по словам.

После урока она кивала Феде. Это означало, что после уроков он идет в голубой кабинет. Иногда она не кивала – не обращала на него внимания. Тогда Федя шел к двери, оглядываясь, ждал, что кивнет. По пути домой мы с Иркой обсуждали. Федька молчит и ходит гоголем. Ирка уже прочитала. Шекспир нашелся дома, правда, не «Ромео», а «Гамлет». Обещала выпросить у родителей и принести мне. Вчера Ф. позвала Мишку Дудинцева. Ничего он не читал, просто сидит с Федькой за одной партой. Ирка злилась. Я не смела. В понедельник на уроке Ирка подняла руку и сказала, что уже прочитала «Гамлета». Ф. выслушала безразлично. Родители книжку дали. Перевод Пастернака. Эти слова не ранили мозг, не хрустели острыми осколками.

Порошок, который я выпросила, кончился. Щетку я сама унесла домой еще в тот раз. Дежурные мыли тряпками и не каждый день, только тогда, когда Федя с Мишей не приходили. Мне это было на руку. К моему дежурству голубой пол снова стал желтоватым. Теперь я всегда носила в портфеле порошок и щетку и ждала.

Она кивнула мне во вторник. Наступал мой день. После уроков я пришла. Она сидела в углу и писала. Я сдвинула парты и выложила щетку. Притащила ведро воды. Снова, как и в прошлый раз, – квадратами от окна. Шур-шур – сыпала порошок, терла, смывала, носила воду – квадрат за квадратом. Колени сырели. Она не смотрела в мою сторону, просто сидела и писала. Я доползла до угла, она поднялась и перешла к окну. На вымытом отпечатались ее следы. На коленях я проползла за нею и вытерла насухо. В туалете я вылила последнее ведро и посмотрела в зеркало. Красное лицо, растрепанная голова, темные пятна на коленях. Я вернулась и поставила ведро в шкаф, щетку засунула в ведро. Носить с собой бесполезно. Если бы я посмела, я бы заплакала. Она поднялась и вынула белый платок. Я ждала, что теперь она нагнется. Мне это было все равно. Она не нагнулась. Я стояла у двери. «Садись». Я мыла два часа. Это было ее первое слово. Я села за свою парту и спрятала красные руки. Она открыла проигрыватель и вынула из конверта пластинку. Свела брови, подняла иглу, опустила медленно и вышла на середину.

Там, там, там – как будто кто-то подходит ко мне, три мягких шага, издали, их много, но как одно, но шире, чем одно. Ее рука поднимается, открываясь, и голос, ее голос, но другой, какой я никогда не слышала даже по-английски, как будто не голос, а что-то другое, большее и выше, *непостижимее*, опустилось на звук, как игла. Звук вздрагивает, но голос идет над ним как над водой, по звукам, едва касаясь.

When in disgrace with Fortune and men's eyes
I all alone bewep my outcast state,
And trouble deaf heaven with my bootless cries,
And look upon myself and curse my fate...³

Я не понимаю, я не знаю всех новых слов, я еще не выучила новые слова, только некоторые, но мне и не надо, чтобы понимать. Сижу и сжимаю красные руки, свожу и развожу пальцы, сижу и сжимаюсь до верха, до горла, когда ее голос, не голос, что-то, чему я не знаю

³ «Когда в раздоре с миром и судьбой. Припомнив годы, полные невзгод, Тревожу я бесплодную мольбой Глухой и равнодушный небосвод...» (В. Шекспир. Сонет 29. Пер. С. Маршак)

слова, отходит, отступает на шаг, руки опускаются, звуки разжимают мои пальцы, и *им*, тем, соединенным в одно, удается взлететь, вырвавшись из моих красных рук, которые хотят удерживать. Медленная дрожь, и там, высоко, все разрывается, как завеса, передо мною: *они* выпевают то, чему я не знаю слов, то, что никогда не назову. Каблуки – к проигрывателю, рука быстро поднимает иглу. «Это сонет Шекспира. Вот, я написала здесь, для тебя». Каблуки – к столу, на котором листок. Подает мне. Моя красная рука, ее – маленькая, белая, с голубоватыми прожилками. Голубые прожилки крови. «Ты выучишь, и мы попробуем с тобой. В этом цикле три сонета, я хочу, чтобы вы читали вдвоем. Ты – первый и третий, Федя – второй». На столе пусто. Пока я терла, она писала.

Уже целый месяц, день за днем, я стою в голубом кабинете у доски. Она передо мною. Проигрыватель под ее рукой. Она поднимает и опускает иглу. Сначала часто, почти с каждым словом, потому что мой голос не слушается, вихляет в ее руке, как сковородник. Пальцы сведены, руки деревенеют, горло деревенеет, мое дурацкое горло. Все, чему научилась раньше, – не в счет. День за днем она стоит передо мною, ее рука держит мой голос, голубые прожилки крови перед глазами. Одну первую строку, теперь вторую, день за днем. Уроки проходят неслышно, ночи проходят неслышно, мы читаем по очереди, она, я. Каждое слово – на свой звук. Когда она – в моем горле натягиваются жилы. Когда я – надо следить за горлом и лицом. Надо следить за музыкой и ее пальцами. Она терпелива. Я не знала, что можно быть такой терпеливой. Я терпелива – моему терпению не будет конца. Она не утешает. Переносит иглу назад. Сначала и по одной строке. Она снимает иглу и больше не ставит. Я дошла до конца. Наверное, она думает о том, что прошло целых два месяца. Я смотрю в ее лицо. Тени под глазами, она измучена. Сидит, не двигаясь. Она манит меня, сажает рядом, обнимает. Утешает – теперь. «Теперь ты считаешь дома, сама, чтобы запомнить». Она снимает пластинку и укладывает ее в конверт. Теперь мне можно доверять. Дома я вынимаю пластинку. *Мой* кусочек Глюка заезжен до белизны. Дальше черное. В середине будет Федино. Его будущая белизна, в середине. Я сижу в углу и шевелю губами. Федя у доски, она напротив. На этот раз напротив него. На меня не обращают внимания, и это – хорошо. Я могу слушать, как она читает, как раньше для меня. Через неделю мои губы попадают в слова.

No longer mourn for me when I am dead
 Than you shall hear the surly sullen bell
 Give warning to the world that I am fled
 From this vile world with vilest worms to dwell...⁴

Она читает терпеливо и терпеливо переставляет иглу, но с каждым днем ее лицо замыкается. Я вижу, как он старается – каждый раз вступает с надеждой. Она уже почти не останавливается. Дает прочесть до конца. Потом снова сама. Он не попадает, не попадает, не попадает, снова и снова не попадает. Улыбается виновато. Я вижу. Он читает о себе, о своей смерти. Она не хочет видеть его виноватой улыбки. Эта улыбка погубит. Через две недели она протягивает его листок мне, показывает рукой, и я выхожу. Мои скрипки – мое вступление. Федя смотрит из моего угла. Она ничего не объясняет, но мне и не надо. Это – не про меня. Про нее, про ее смерть. Я – ее губы. Я говорю ее губами, про нее. Про себя я бы так не посмела. Кого я посмела бы утешать в *своей* смерти? В ее смерти она утешает – меня. Там только одно мое слово – *for I love you so*⁵, но оно *так*, по-ночному, мое, что я не боюсь сказать. Она делает мне знак рукой, чтобы я молчала, и встает. Поднимает иглу и ставит на конец Фединой...

⁴ «Когда умру, напрасно слез не лейИ знай: тягучий мрачный звон вдалиРазносит весть, что мне теперь милей, Чем смрадный мир, могильный смрад земли...»(В. Шекспир. Сонет 71. Пер. К. Азадовского)

⁵ ...потому что я так люблю Вас... (англ.)

But be contented when that fell arrest
Without all bail shall carry me away
My love hath in this line some interest
Which for memorial still with thee shall stay...⁶

Ее лицо оживает, она читает мне – про себя. Она жива, она заранее утешает меня, пережившую ее смерть, потому что в этот миг она знает, что когда-нибудь мне снова придется пережить. *For I love you so* – это не ее слова, мои слова, так она не может сказать. Так она не сможет сказать еще много лет. Но скажет. *Do not so much as my poor name rehearse*⁷, – скажет, и потом я больше никогда не смогу повторить ее имя.

⁶ «Когда меня отправят под арест
Без выкупа, залога и отсрочки,
Не глыба камня, не могильный крест,
Мне памятником
будут эти строчки...»(В. Шекспир. Сонет 74. Пер. С. Маршака)

⁷ ...Не повторяй мое жалкое имя... (англ.)

Крошка Цахес

С точки зрения района, наша школа – гордость района и блаженный островок показухи. С точки зрения школьной администрации, район – это Министерство иностранных дел. Оно направляет к нам многочисленные иностранные делегации, которые мы принимаем с почетом. Их водят по классам, демонстрируя процесс обучения. Мы давно свыклись. Открывалась дверь, и появлялся по-нашему улыбающийся Б.Г. За ним тонкой струйкой просачивалось человек двадцать, улыбающихся по-иностранному. Урок не прерывали. Пришельцам предоставлялась возможность изучить советских школьников в естественных условиях. Естественные условия изображались просто, но артистично. Хорошие ученики дружно поднимали руки, плохие не поднимали – от греха. Видимо, изображали тоже хороших, но с ленцой. Голос учительницы становился звонче. Если это был не урок английского, Б.Г. переводил шепотом, вводя гостей в курс дела. Минут через десять, видимо, уже окончательно войдя, улыбочивые гости покидали нас на цыпочках, оставляя по себе дары: аки манной небесной наши парты покрывались жвачками, ручками, бусиками. Б.Г. выходил последним и одаривал нас совершенно нормальной улыбкой.

В отличие от Б.Г., Мамап иностранцев не водила. Она водила дружбу с заведующей районо, от которой зависели ежегодные ремонты, новая мебель и лингафонные кабинеты. Естественные условия, в которых принято было нас показывать, должны были быть не столько естественными, сколько достойными. Однако это был фон. Мамап не могла этого не понимать. Шекспировский театр, который организовала Ф., становился козырной картой. Для нас началась новая эра – мы выходили в любимые дети Мамап.

«Дорогие друзья. Я – конферансье небольшого коллектива, который организован в рамках Клуба интернациональной дружбы имени Роберта Бернса. наших друзей мы по традиции встречаем маленьким концертом. Конечно, мы не профессионалы, но приложим все старания». Я стою на открытом месте в рекреации второго этажа. Передо мной скамейки, на скамейках – английская делегация. Делегация очень важная – Мамап в первом ряду. Рядом с нею несколько пожилых английских дам в кружевных воротничках. Публика попроще – джинсы, свитера, борода, – рядами за их спинами. В общем, форменный Шекспировский театр. Мое английское вступление закончено. Благоклонные улыбки и легкие аплодисменты. Ф. в углу у проигрывателя.

Первой я объявляю Лену Трону. Классический танец. Ф. ставит пластинку, Ленка выплывает на пальцах. Танцует замечательно. Легкая фигурка в шуршащей пачке. Гости фотографируют. Бесперывные вспышки. Кружевные дамы кивают: русский балет. Мамап шепчется с ближайшей. Что-нибудь вроде того, что дети в СССР учатся балету с раннего детства. Кружевная непроницаема. Я еще тогда заметила, что она какая-то не совсем кружевная. Джинсы и свитера аплодируют с энтузиазмом. Кружевные сдвигают ладони. Мамап смотрит на Б.Г. выразительно.

*“An Ideal Interview with the Greatest Actor”*⁸. Я объявляю то, что никогда не видела, то, ради чего они оставались после уроков. Федя – великий актер, Миша – журналист. Берет интервью: «Итак, вы готовы явить себя в Шекспире?» – «Я бы выразился по-другому... – Федька надменен и вдохновенен. – Шекспир готов явить себя во мне». Взрыв хохота. Я смеюсь со всеми. Мишка ходит кругами на почтительных цыпочках. Великий актер представляет публике нового Гамлета: не в черном, в коричневом бархате. Это – революция. Они говорят быстро, слишком быстро для меня. Но это не для меня – для иностранцев. В Федькиной руке череп, настоящий, из кабинета биологии.

⁸ «Воображаемое интервью с великим актером» (англ.; рассказ Стивена Ликока).

Зрители хихикают. Поднимается с табуретки, бросается на пол, ползет на животе, судорожно дергая ногами: «Я ползу медленно, мои ноги и живот движутся, выражая грустную историю Йорика». Хохот нарастает. Мишкин открытый рот. Федька вскакивает. Спина к публике, дергает лопатками, вот оно страшное горе Гамлета, потерявшего друга. Мишка – как пес на задних лапах. Великий актер скромнее как никогда. Уже снисходя к восхищению, сообщает, что на самом деле он собирается представить публике нечто большее, чем Шекспир. «Как бы это выразить – что-то... В общем – я представлю самого себя». Как подкошенный, журналист падает на колени, отползает вперед пятками. Аплодисменты – длинные и продолжительные, взахлеб. Быстрым взглядом я оглядываю главных. Ф. в своем углу. Смотрит в окно. Мамап смеется со всеми. Б.Г. оглядывает зал, привставая с места. Кружевная улыбается вежливо и сдвигает ладони. Этой все равно, что Федя, что советский балет. Я хлопаю, но у меня уже сосет в животе, потому что теперь я должна объявить себя. Сонеты Шекспира под музыку Глюка. Они ждут, когда я уйду. Привыкли, что объявляю. Стою, дожидаясь шуршания. Ф. за моей спиной. Господи, какая пустота, как в животе. Шуршание и мой голос, бредущий за скрипками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.